

W 380
28

НЕ КОПИРОВАТЬ

801-11
397

ор 1-4
21304

45 ud

W 298
622

ПЕРЕВАЛ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

СБОРНИК ШЕСТОЙ

чат
листов

41-4421



28-43203



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

АМИР САРГИДЖАН.

САРАЙ ЗВЕЗДЫ

I

ПОЭТЫ

Серые глинобитные стены окружают дворик. Двери, маленькие и резные, почти всегда закрыты днем, почти всегда распахнуты ночью. Ствол старого винограда прислонился к одной из стен, его длинные гибкие ветви, охватив столбики верхнего этажа, перекинулись на крышу. Из-под стены выползает и уходит в противоположную серая змейка арыка. Он всегда полон, всегда шуршит.

Моя келья наверху. Раннее утро. Двери еще закрыты, через щель дрожит солнечная коса.

Забурчали голуби. Через мгновение тягучая и нежная молитва нарушает лирическую болтовню птиц. Ученик медресе домло Кодырь по бедности своей служит при мечети, и его-то надорванным голосом начинается каждый мой день. Голос его тих, он успокаивает, а внизу, во дворе, вторит ему плеск воды, стук чайников: набожные соседи мои—афганцы—омываются перед первой молитвой, а скептический служка Ботур-бой бежит за кипятком. Через минуту он уже стучит в дверь и пробегает к следующей. Там, за дверью, оставлен белый кузнецовский чайничек, благоухающий мятной теплотой зеленого чая. День начат.

Дворик за ночь вспух пылью. На него хлещут холодной тяжелой водой, и он покрывается черной слизью. Ворота распахнуты на улицу, там уже пробегают одержимые энтузиазмом продавцы винограда, лепешек и фиг. Широким халатом и белой чалмой обозначены купцы, торопящиеся к открытию лавок: в левой руке—благоуханные арабские четки,

в правой—ключ на ремешке. Арбы, чуть не задевая друг друга, прокатываются мимо. Группами едут всадники—дальние крестьяне; плетутся ослы под тяжестью хозяев. Торжественной важностью, наполняя воздух дыханием мяты и жаром степных просторов, проходит караван; погромыхивает колокол последнего верблюда. День начат, пусть же будет он благополучным, как вчерашний, и благосклонным, как завтрашний.

И дома и на улице бегает Ботур-бой в своем белье из розового ситца. Широчайшими белыми тканями облечены афганцы—на одни их штаны уходит семь аршин батиста, и ткань обтекает их ноги широчайшими складками. Тяжела и велика афганская чалма, черна и скользка персидская шапочка. И здесь, в караван-сараях, прохожие жители временного крова, по необходимости совершая общие дела, клянясь над одним Кораном, они ненавидят друг друга—яростные сунниты под белой чалмой и упорные шииты под персидской шапочкой. Все разногласие их заключается в толковании двух-трех строк, неосмотрительно записанных Магометом. Но афганцы, персы, коричневые индусы, чернобородые бухарцы, дальние татары, холеные турки—мы ютимся все вместе здесь, под благословенным кровом постоянного двора. Только русских здесь никогда не бывает: для них есть зловонные гостиницы и новый город.

И всеми, откуда бы мы ни приезжали, управляют здесь освященные давностью обычаи. Молчаливо недолюбливая татар, не допуская на ночлег женщин и евреев, караван-сарай «Юлдаш-Тага» существует многие десятилетия. Юлдаш—значит звезда. Таково было имя владельца.

День начат. Все обитатели, проезжие и приезжие по делам торговым и по служебным, расходятся. Но в течение дня все они многократно встретятся—никто из них не минует базара.

Кто же минует базар! Здесь, когда европейцы и европействующие еще спят на пружинных кроватях, уже насквозь известно все, что за ночь произошло в отдаленнейших городах мира, затем и базары, чтобы торговаться, завязывать знакомства, выпытывать новости и собирать мате-

риал для потрясающих сплетен. Кто же ходит на базар лишь ради покупок! Можно ли переносить такой рационализм! Если вы не сангвиник, если сердцу вашему дано ощущать биение жизни, вы не пройдете через базар, как через московский пассаж. Слушайте: здесь хромым мулла, суля леденец, выпытывает у малыша пионерские заповеди. Черный перс, насупившись, изучает курс червонца. Купцы налету понимают общие мысли, оживленно беседуя о другом. Некоторые улицы базара перекрыты циновками, и свет просвечивается через узкие щели. Там, над шумной землей, гуркуют голуби.

Проходят европейцы. Они покупают орехи по скорлупе и поэтому часто ошибаются. Только женщины-европейки смеют еще судить о зернах, не глядя на скорлупу, и поэтому ошибаются еще чаще. Азиаты же умеют между двумя положениями находить компромисс и чаще бывают счастливы. Но ошибки нас учат. Мудрый Восток ошибался редко, и поэтому он столь немногому научился за последние годы.

Жизнь базара кипит до вечера, до четвертой молитвы, когда закрываются лавочки, вывешиваются у дверей керосиновые фонарики, а с другими фонариками в руках купцы расходятся по домам. Там говорливые и торопливые жены, жирный горячий плов, мягкое одеяло и скользкая дыня на сон грядущий.

Пара подсохших лепешек, дынька да чайник зеленого чая—вот ужин ремесленника; пара не очень грязных, но очень обтрепанных одеял—вот его обстановка; самая некрасивая (дешевая) женщина—это его жена. Сухая лепешка да чайник чая—его обед; кисть винограда да чашка чая—его завтрак. День начат, день окончен. Все они похожи один на другой—ковать ли лопату, шить ли седла, чеканить ли нежнейшие стихи Гафиза на ноже для разрезания дынь.

Гости и посетители часты в наших сереньких кельях, куда не допускают ни жен, ни матерей. С утра заходят сюда купцы совершить сделку, муллы сообщить последние новости; иногда татарки—предложить любовь.

Я сижу над книгами, в часы, когда душно в тени и горячо под солнцем. Шелестит арык и воркуют голуби. Только изредка подкованным каблуком стучат по двору туфли.

Я прилежный путник к истоку культур. Крыша мира—Памир синее вдали своими отрогами, словно легкое облако. Я читаю его письма. И целый день, пока зной мешает бродить среди людей, со мною в тени—глиняная чернильница и отточенная камышовая палочка, заменяющая перо.

Гости нарушают застоявшийся зной. Машед-Али получил из родной Персии красный контрабандный чай и со своим чайником перебирается ко мне угощать и играть в шахматы. Машед-Нохай—подучиться арабской грамоте. Шир-хан, владетельный князь афганский,—обменять пару английских книжек и поругать зубного врача, ради которого он переехал границу. Абду-Джалиль—шейх, ходжа и ханжа, приходит позже. Он грустен, но улыбчив и любезен, он приносит блюдо горячих пирожков, приготовленных дома.

— Желаю мира и довольства,—говорит он.

— Благодарствую, будьте благословенны!

Пьем чай. Я первым. Хозяин начинает: пережиток давних времен, когда немилостивого гостя угощали изысканнейшей любезностью и вернейшим ядом.

Шейх дряхл и любезен.

Мы говорим об истории, о жизни; наконец, о последних новостях. Из любезности шейх сочувствует решительно всем моим мнениям—такова обязанность гостя: пережиток давних времен, когда строптивый гость стараниями обиженного хозяина мог навсегда распрощаться с милым миром.

Лет тридцать назад шейх впервые был в Мекке; последний раз—пятнадцать лет назад и за десять лет до этого последнего паломничества родился у шейха Абду-Джалиля сын Абду (или Абу)-Саид. В ознаменование путешествия шейх повязывает чалму на особый манер; в честь сына он носит печаль на сердце.

Книжка Саади, украшенная редкостными рисунками, лежит у меня среди других, в стороне. Ее подарил мне на прощанье Абу-Саид пять месяцев назад.

Мы пьем чай и говорим о жизни, о дальних странах, о Европе. Есть на персидском языке книги—Искандар Дюма, «Торихи» Наполеона. «Монте-Кристо»—любимейшая книжка шейха, Наполеон—героичнейший чужеземец.

— Только Тимур умнее Наполеона! Только Чингиз сильнее!—говорит шейх.

Горьким налетом печали темнеют глаза шейха, даже седая борода темнеет, даже второй халат распахнут у шейха, когда речь касается литературы. Шейх взглядывает на томик Саади, шейх вспоминает сына.

— Наши руки ковыряют землю, наши глаза иссыхают от солнца, наши хребты искривляются, когда мы растим сад; но сад распускается, и мы пожинаем сбор, круглый год тешим себя фруктами. Наши глаза истекают, наше сердце измыливается, когда растут наши дети. Мы радуемся, привязывая бубенчики к их косичкам, мы гордимся впервые одевая им чалму, но где же сбор? Где же цветы и плоды теперь, в старости?

Голос шейха с надломом, хотя и литературна его речь, а глаза вопрошают. Вежливость нарушена, бесстрастие сломано, а не говорил ли Магомет...

Но дело не в Магомете...

Он ясен,—Абу-Саид. С двенадцати лет до шестнадцати он учился в медресе Мир-Ароб в Бухаре, бухарские революционеры—младобухарцы помогли мальчику переехать в Стамбул, и Абу-Саид изучал литературы и историю, изучал Индию, насколько хватало книг, говорил на семи восточных языках и на трех европейских. Два года назад он вернулся обратно. В мирной тишине сарая «Юлдаш-Тага» расцвела наша приязнь.

Свои повести и стихи он писал на родном языке—фарси. Это, может быть, древнейшее из персидских наречий. Персия считает его своим литературным, но персы не владеют им так, как бухарцы.

Абу-Саид приходил по вечерам. В темноте, на балкончике, разжигали мы дрова, варили плов, грызли миндаль, слушали Гафиза—меланхоличного умника и Саади—умного меланхолика. Нередко и сам Абу-Саид читал стихи. Строфа его стихотворений, краткая, гибкая и звучная, кипела свежим языком, изумительнейшим сплетением образов и мыслей, неожиданным заключением, ласковой моралью. Он написал

поэму «О нагорных странниках», о туманной жизни таджикских селений, о людях, заброшенных в удаленные горы, о их походе в поисках пути к лучшему миру, о гибели и о сумасшедшем старике, и поныне, уже среди долин, не устающем искать путей. Проезжий перс, редактор «Тавриза», услышал эту поэму. Он предложил ее немедленно издать в Персии, звенел рупиями и переписывал к себе в тетрадь звучные строфы. Абу-Саид отказался, но неутомимо предлагал ее в Бухаре, в Самарканде, в Ташкенте. Все хвалили поэму, обнимая автора. Пять месяцев назад он возвратился ко мне:

— Наши издательства обременены большими планами. Они печатают брошюры по земельным вопросам, учебники, поэтов им некогда издавать: они сначала хотят пахать, а потом уж и петь. У меня остается один путь...

В некоторых городах Азии существуют содружества поэтов. По очереди они собираются друг у друга, обычно в зимние ночи и в черные вечера Рамазана, едят плов, читают стихи и никогда не печатаются.

Восток наверстывает упущенные столетия—в его арбу впряжен фордовский трактор, нужно скорее учиться обращению с этим трактором, изучать новые породы хлопка, устраивать новые системы орошений...

Пять месяцев назад Абу-Саид вернулся ко мне, чтобы проститься:

— У меня один путь.

Он уехал в Москву. Цель его—русский язык; вторая—русская культура. Он написал мне из Москвы, что штудирует Даля, без усталости слушает и записывает народные песни, ездит в глушь прислушиваться к говору, к новым словам; часами бродит в музеях перед картинами и иконами, перед архитектурными зданиями, изучая прошлое той страны, которой он принес свое будущее. Многие из своих вещей он переписал порусски, кое-что уже напечатал, над многим работает. Он не устает, его русская речь уже совершенна; у него русское имя; насколько возможно, русская внешность. Скоро он овладеет языком сегодняшнего дня. Но Азия потеряла его безвозвратно: он овладел языком боль-

шей аудитории—шестой части мира, и к ней-то и принаравливается его голос...

— Да, да, я слушаю, шейх, это горько, когда дети покидают своих родителей...

— Мне семьдесят лет, милый Амир, моя жизнь на закате. Есть ли у меня солнце, если около меня нет детей? Можно ли слушать мир, если ему не аккомпанирует голос ребенка?

Азия любит детей, Азия балует детей. Она чувствует инстинктом опасность вырождения. Об Азии только теперь стали заботиться—теперь ей посылают хину, врачей и семена культурных растений.

— Горько доживать в одиночестве, мы, родители, имеем неотъемлемое право на детей. Мы растим их и холим их для совместной жизни. Вправе ли отнимать они у нас радость своего присутствия?

В мире много родителей, покинутых единственными детьми. И, может быть, не так горько вспоминать о погибших в битвах, как о тех, которые не хотят возвратиться...

Абу-Саид изучает сердце шестой части мира. Он поэт и надеется овладеть ее языком и ее ритмом, но в мире много родителей, покинутых единственными детьми. Будьте стойки, будьте мужественны,—одни на неуклонном пути к своей цели, другие—в своем одиночестве.

Я рассказываю шейху о мире, о времени, о смене поколений. Я молчу о том, что между ним и Абу-Саидом лежат не пять тысяч верст, а пять тысяч лет. Шейха ждет на дворе вороной конь, а сын его проносится теперь в стремительном трамвае. Шейх уснет в ожидании следующего дня, а сын его—нового тысячелетия.

Шейх грустно возражает:

— Когда я был молод, язык мой не уставал напевать стихи. С детства я слышу, как купцы и крестьяне поют Саади, на все случаи жизни помнят заветы Гафиза. Но язык поэтов лукав. И мне не по душе, что у меня только один сын, и еще грустнее, что он—поэт. Поэты никогда не могут ужиться. Властители умов, если они сами не поэты, опасаются их, не любят их: поэты думают или на тысяче-

летие вперед или на столетие назад. Если они не лгут, язык их не совпадает с языком современности,—иначе они не поэты. Сознаюсь, пророк наш был хитрейшим политическим деятелем и ненависть его к поэтам была безгранична. Он жжет их на протяжении целой главы Корана, он не устает говорить:

«Хотите ли вы знать, каковы те люди, на которых нисходят демоны и которым они делают внушения? Демоны вселяются во всякого лжеца, погрязшего в грехе, и тогда он начинает рассуждать о вещах, которые уловил лишь краем уха, чаще же просто измышляет ложь.

«Таковы поэты, за которыми в свою очередь следуют сбившиеся с пути. Неужели ты не видишь, что они бредут по всем дорогам, как безумные, рассказывая о том, чего никогда не видели...»

Шейх умолкает, опечаленный авторитетом пророка.

Мне остается спорить и возражать:

— Разве не дорог нам Саади на протяжении многих столетий? Разве не был поэтом сам Магомет? Разве народные восстания разгораются не под грохот песен, рожденных тут же, за минуту до битвы?..

Шейх задумчиво молчит, перебирая четки. Четки благоухают кипарисом, застывшей тишиной Аравии. Четки—это связка молитв, которых не следует позабывать правоверному шейху.

И расстаемся мы любезно, перекидываясь шутками: шейх стар, он желает быть вежливым.

День отошел. Покачиваются фонари. Утомленный голос домло Кодыра зовет к пятой, последней молитве. И чей-то осел, уставший ждать своего хозяина, орет изо всех сил у подножия минарета. В Коране по этому поводу сказано...

А, впрочем, не все ли равно, что там сказано!

На дворе расстелены коврики, пьют чай, играют в карты, пьют пиво: какое счастье, что пива не было во времена Магомета, иначе пророк запретил бы и его, подобно вину...

Ночь. Хороша игра—кончильнор, когда пьяный голос поет печальную песню о гордой розе и соловье.

II

ЛЕГЕНДЫ

День кончен. Посторонние покинули караван-сарай. В сады ускакал шейх. Возвратились к мирной тишине купцы после дневной суеты, непрерывного говора, напряжения и предприимчивости. Ремесленники отмыли копоть, освежая отупевшие глаза. Ночь.

Покачивается фонарь на дворе, а мы собираемся вместе в маленькой комнате, где ковры, одеяла, тарелка с миндалем, пиво. Человек восемь-девять давних обитателей, мы делимся прожитым днем. Молодой портной Мир-Аколь, подвыпив, подносит к уху поднос, бьет по нем ладонью и пальцами и поет печальную песню. Европейцам странными кажутся эти напевы, где голос дрожит, как струна. Они не улавливают, как ритм напева совпадает с биением сердца.

Последняя молитва окончена в мечети. Мы намерены мирно просидеть этот вечер на уютных одеялах, развалясь в тепле, в тихом свете, под мирный говор племен. Нас много—племен, пять или шесть: бухарцы, персы, турки, афганцы... Песня настраивает, как вино. Говорим об отошедшем дне, о цене на картофельную патоку. Мир-Аколь о своей стране—Самаркандии, где прекрасны, как небо, изразцы на давних сооружениях. Перс Али прерывает его горячо:

— И все это создано персидскими руками!

— Но они были нашими пленниками, эти архитектора... На мгновение шипит тысячелетняя рознь.

— Стой, Машед-Али,—говорит Шир-хан, афганский принц и мечтатель,—не в чудесные ли времена мы живем. Вот давние пленники сложили эти каменные цветы, не затем, ли, чтоб теперь их освободившиеся потомки угадали чудесные сновидения, которые в годы темниц и неволи преследовали их...

Мир-Аколь согласен, но он немножко пьян и теперь хочет досадить Машеду-Али. Мир-Аколь знает, как чтут персы Куссама, убитого в Самарканде двенадцать столетий назад. Аколь рассказывает непочтительную легенду об этом «живом царе».

Когда арабы завоевали Туран, они принялись насаждать культуру ислама, хочешь не хочешь, молись аллаху. Сам двоюродный брат пророка Магомета Куссам руководил делом, на него-то и обрушился гнев населения, когда представился случай. Спасаясь и желая покончить со всем без лишних мучений, Куссам добежал до Афросиаба, увидел колодец и прыгнул туда.

Дальше идет легенда: самоубийство вещь предосудительная и можно ли брату пророка умереть такой собачьей смертью, и потому...

«Прыгнул в колодец Куссам-ибн-Аббас, святой человек,— р-раз!—и стал бессмертным. Видит себя он в саду. Самаркандцы же добежали до колодца, делать нечего, пошли назад, а арабы придумали: «Святой человек Куссам, сидит он в колодце, не пьет, не ест—богу молится за всех правоверных без отдыха...

«Ну, прошло с тех пор восемьсот лет. Едет мимо колодца хан Тимур и говорит: «Трудного я жду похода. Помогите мне, Куссам, я над тобой мавзолеем выстрою». Едет с Тимуром Рухабадский шах, Тимуру советует: «Если с купцом купец затевает дело, задаток дает. Построй мечеть, а тогда и в поход иди». «Ну, ладно, соглашается хан, стройте, персы!»

«И построили персы мавзолеем из кирпича и покрыли такой синевой, которую выжали из неба. Франки и донныне придумывают такую краску и не могут ее понять. И поставили эту синеву, словно свод небесный, а стены покрыли изразцами, изображающими цветы, будто райский сад, так что слетались отовсюду обманутые птицы чаровать своим пением каменные цветы и разбивались о купол, думая, что взлетают к небу.

«А Тимур поехал в поход, едет и думает: «А что, если поставил я мавзолеем над пустым местом...» Едет, а сомнение дотого его разобрало, что поворачивает он коня вспять и возвращается к колодцу. Слезает с коня и смотрит: над каменными розами живые соловьи поют. А войско стоит за ним и молчит.

«Вот что,—кричит Тимур,—есть ли из вас человек, который спустится в этот колодец и посмотрит, действительно

ли Куссам там богу молится?...» Стоят воины и молчат. Наконец выходит один, по имени Хида, и говорит: «Что ж, ты и не в такие дела посылал, а я ходил, вяжи канат».

«Связали канат, стали опускать Хиду в колодец. День опускают, другой опускают, веревки надвязывают. На третий день веревка перестала опускаться. Стали ждать.

«Вот через три дня слышат, что кто-то веревку дергает; догадались, начали поднимать. Три дня тянули назад. Наконец вылезает Хида и кланяется Тимуру. «Ну?—спрашивает эмир,—как дела, Хида?»—«А дела вот как: запрещено мне рассказывать,—расскажу—ослепну, и все дети мои будут слепорожденными».—«Не беда, Хида,—торопит эмир,—рассказывай!..»

«Ну вот: опустил я вниз, вижу: пещера, а сзади как будто—свет. Иду на свет, вижу выход, а за выходом цветет зеленый сад. В саду гуляют старички, и с каждым по мальчику, очень хорошенькие мальчики, приятно с ними позабавиться. Ну ладно, думаю. Подхожу к старикам и спрашиваю: «Не видали ль вы тут Куссама-ибн-Аббаса? У меня до него дело есть». Стали было меня расспрашивать, но видят, что я не мулла какой-нибудь и разговаривать мне с ними некогда, ведут к Куссаму. Вижу я: сидит старик, лицо его, как гнилой персик, борода, как пакля. Сидит и играет в шахматы с таким хорошеньким мальчиком, какого—прости!—и у тебя, Тимур-хан, не побывало. И перед каждым ходом попивают они по чарочке такого винца, от которого и китайцы не откажутся. Видит старик, что застал я его не вовремя и говорит: «Ты иди назад, Хида, я занят заботами о земле, да смотри не рассказывай, что тут видел, а то ослепнешь...

«Велел тогда эмир Тимур засыпать колодец доверху и место то сравнять с землей. А в замечательных тех мавзолеех похоронил своих родственников. И стало то место называться Шахи-Зинда, что значит «живой царь».

Машед-Али, конечно, давно знает эту легенду, но он настроен мирно, он не хочет ссориться, он только язвит:

— А слепого Хиду твой добрый эмир пустил по миру?

— Нет,—возмущается Мир-Аколь,—он выстроил в Са-

марканде Мадрасу-и-Хоразми, где слепцы изучали Коран и могли стать муллами. Оно и сейчас—приют слепцов...

— Ну да, за подвиги наградил богадельней...

Но Мир-Аколь, отмахнувшись, берет свой поднос, бьет ладонью и пальцами и опять поет, а Машед-Али наливает пиво.

— Я тоже расскажу,—говорит афганец из Майманы.

Он все время сидел в углу, молчал и теребил четки.

— Вот какой у нас есть рассказ. Будто бы сидел, сидел под землей Куссам-ибн-Аббас и наконец решил выйти. Обращается он к Магомету и говорит: «Помоги, пожалуйста, мне—мой колодец засыпали, не могу выбраться». Ну, взял пророк штопор, просверлил в земле дырку, через нее Шахизинда и пролез.

И надумал святой человек итти в Аравию, собирать войско, чтобы со всеми неверными расправиться. Выбрал день прохладней, пошел. Идет по городу, навстречу ему едут всадники без чалм. «Ну,—думает Куссам,—это паршивый народ, не мусульманский. Такой народ мозгов не имеет, а вместо сердца, у него ослиный хвост».

«Ладно. Подходит Куссам-ибн-Аббас к городским воротам, раскрывается перед ним степь. Видит: сидит у ворот человек, роста небольшого, халат едва до пояса достает, коротенький, а из-под халата до пят штаны спущены. И халат черный и штаны черные, а голова белая и непокрытая. Заинтересовался Куссам и думает: «Ну у этого вместо сердца и хвоста-то нет, одна видимость, чужой человек». И спрашивает: «Далеко ли, брат, путь держишь?»—«Да вот иду в Аравию,—отвечает,—чтоб на Востоке войско набрать и со света ханжей разогнать».—«Ну и ну»,—думает Куссам, и говорит: «Нам, брат, по дороге».

«Пошли вместе. День идут, никого не встретили, другой идут, никого нет, а запасы-то их и кончились. «Вот,—говорит Куссам,—удивительный человек, вся наша надежда на одно: растут здесь, в пустыне, земляные груши. Кто из нас найдет, тот с другим поделится». «Ладно,—говорит удивительный человек,—пойдем искать».

«Так. Пошли, а посредине Куссамов посох на бархане по-

ставили, чтобы знать, к какому месту сойтись. Идут в разные стороны—святой человек к пустыне привычен, другой—не привычен. Святой скоро много груш нашел, сел—съел. Идет назад и печальные глаза делает. Другой приходит и несет одну грушу. Вот,—говорит,—одну нашел, трудно искать, под песком не видно». Разломал пополам, поделился с Куссамом-ибн-Аббасом.

«Идут еще день и еще день, нигде ни одной груши не попадается. Опять расходятся в стороны. Святой нашел, сел—съел, идет налегке обратно. А другой возвращается и приносит половинку, а у самого глаза давно погасли от голода. «Вот,—говорит,—под песком не нашел, а поднял на дороге половинку, верно, шел караван да недоеденную выбросил, давай, разделим пополам. Разделили—съели».

«Пошли было дальше, а Куссам к другому присматривается: «Что,—думает,—за человек такой—одет не понашему, а такое сердце!..»

«А скажи-ка ты мне, странный человек,—говорит Куссам,—как же это ты войско набирать будешь?»—«А вот приду и скажу: посмотрите на мое сердце, если оно бьется заодно с вашим, идите за мной, а если иначе, идите против. И когда наберется нас много, мы пойдем и завоюем мир. Завоюем и прикажем, чтобы были у всех добрые сердца, щедрые руки, общие кровли и глаза смотрели вперед...»

«Так прошли они еще три дня, и Куссам-ибн-Аббас взглянул вперед на долгий путь, оглянулся назад и останавливается: «Вот,—прошептал Аббас,—ты лучше, чем показался мне сначала, и твое войско будет сильнее моего, а потому мне незачем итти в Аравию, и я возвращаюсь обратно».—«Да,—сказал странный человек,—лучше тебе возвратиться: пусть возвращаются те, которых пугает пустыня и безрадостный путь».

«Ты говоришь знакомо. Как же имя твое?»

«Зовут меня Лениным, а иду я с запада...»

«И они расстались».

Это одна из многих и многих легенд о Ленине. Их рассказывают на базарах; старые нищие распевают их в харчевнях и чайных, как некогда пели о народных героях, о подвижни-

ках. Иногда сводят героев вместе, ставя Ленина во главе их. Иногда легенды эти наивны, иногда грубы, но всегда искренни. Откуда возникли они в нагорном Китае, в глуши Афганистана, где правит неограниченный деспот, в молчаливой Персии? Какая сила делает их столь популярными?..

Ночь. Азия спит. Фонарь колыбается над сонным миром. Мир-Аколь поднимает к уху свой поднос, бьет по нем ладонью и пальцами и поет грустную песенку о покинутых женщинах, которые томятся под чадрой, не смея спросить о милом, не смея поджидать, не смея надеяться:

А она все ждет, красавица:
 Может, милый придет.
 Вот и сад цветет, красавица, —
 Он придет, придет, красавица..

Ночь. Азия спит. Азия ждет...

Л. ВОРОНЦОВА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ВЕРСТ ПО КАЛЯЗИНСКОМУ УЕЗДУ

Станция Калязин—как десятки других глухих станций в центральных губерниях нашего Союза. Зал ожидания, сохранивший еще дощечку «Зал для пассажиров III и IV класса», так же уныл, прокурен, заплеван, так же хранит в каждой пяди своих стен и пола тяжелый запах карболки, гнилых лаптей, немытого тела—всего того, что образует особый аромат российских вокзалов.

В мертвенном свете свечи, потрескивающей за пыльным стеклом фонаря, слова плакатов, обещающих тайну вкладов и предостерегающих против сырой воды, кажутся невеселой шуткой. Натруженными пальцами в сотый раз пересчитывает крестьянин-извозчик грошевый свой заработок, стоя под портретами красавиц фирмы «Адон», вещающих розовыми устами о «чудесном креме»—секрете молодости и красоты.

— Прикажете свезти?—говорит он с ироническим подбострастием, зная, что никуда без него не уйти несмышленному горожанину.

«Городские—дармоеды, простак и чудила. И подумать только, что им за работу по часам платит казна деньги. Да какие деньги! Нет, не только не грех, а благое дело содрать с такого лишнюю рублевку». Эта мысль сквозит и из выцветших глаз, запряженных в косматые брови, и из сального, радужными заплатами пестрящего пиджака, и из оскалившихся, как-то нарочито неправдоподобно изношенных сапог.

— Прикажете, недорого свезу,—говорит мужик и называет цену втрое, вчетверо большую обычной красной цены.

Dr. H. ROUSSIER
LAUSANNE
Av. Mousquines 38
Téléph. No. 53.63

Р 8
865

801-12
538

95
95

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ПО ИСТОРИИ
НОВЕЙШЕЙ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗА 30 ЛЕТ

ПОЭЗИЯ :: КРИТИКА :: БЕЛЛЕТРИ-
СТИКА :: ДОКУМЕНТЫ :: МАНИ-
:: ФЕСТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГРУПП ::

СОСТАВИЛ, СНАБДИЛ ПРИМЕЧА-
НИЯМИ И ВВОДНЫМИ СТАТЬЯМИ

В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

3413

Второе исправленное и дополненное издание

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ЛЕНИНГРАД :: 1925

Эпос

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — ГЛАДКОВ — Н. ЛЯШКО — АРОСЕВ — ЛИБЕ-
ДИНСКИЙ — НОВИКОВ — ПРИБОЙ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Автобиография¹

Рожден в поселке Лебяжье, Семипалатинской области. Отец — Вячеслав Алексеевич — был из приисковых рабочих, самоучкой сдал на учителя сельской школы. Но учил, особенно меня, мало, все больше по монастырям и по бабам ходил. От водки сошел с ума, немного оправился; не видал я его семь лет, в 1919 г. приехал повидать, а на третий день брат мой Палладий нечаянно его застрелил из дробовика (сам Палладий через год умер). Мать, Ирина Семеновна, казачка, и сейчас живет в поселке, через дядю пишет — неграмотна — «приезжай, приготовила пуд масла и засушила боярки».

Знаю: в поселке сплет боярышник, стерляди идут густо, и над солончакми, как спелые ягоды, утки. А я сижу в Петербурге и пишу романы.

Учился в сельской школе и, полгода, в сельско-хозяйственной. С 14 лет начал шиться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — «дервиш Бен-Али-Бей» (глотал шпаги, прокалывался булавами, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал), ходил по Томску с шарманкой, актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом.

С 1917 г. участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в красной гвардии), когда одношопчиков моих перестреляли и перевешали, — бежал я в Голодную степь и, после смерти отца (казаки думали: я его убил — отец был царелюб, хотели меня усамосудить), дальше за Семипалатинск, к Монголии.

Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах. Так от Урала до Читы всю колчаковщину и скитался, а когда удалось мобилизовать, то прикомандировали меня, как наборщика, к передвижной типографии Штаверха. Паспорт у меня был фальшивый: «Евгений Тарасов».

Дальше два случая:

Когда поезд окружили партизаны, комендант поезда, прапорщик Малиновский сказал мне:

— Давай свою шинелишку, а сам мою бобровую шинель возьми. Я побегу, тут в сторону дорога открыта.

Я отдал. Прапорщик не убежал, и в полуверсте его зарубили. Подосели партизаны (в белых халатах — чтоб на снегу незаметно), старика-генерала какого-то пристрелили у вагонов, мичмана с отморозженным ухом и человек тридцать добровольцев, выданных железнодорожниками.

А когда вечером совсем трупы поубрали, пристыла кровь (кровь на снегу, как линалий, изъеденный молю, бархат), удумал я прогуляться. Наки-

нул на плечи шинель и вышел. А на снегах — ночь, как лед морской. Проезжают мимо поезда верховые двое, мельком оглянулись и дальше. И вдруг — чувствую, лошадиная морда в плечо. Спрашиваю:

— Чего?

Отвечают спокойно и трезво:

— Из-за вас седни товарища Суменина порешили! Становись на колени, богу молись, я тебя сейчас на тот свет.

И в седле закачался, потом из-под тулупа в каждую руку наган. Ока-зывается — погоны офицерские я забыл снять. Попробовал сказать, что рабочий — матерятся. Тогда говорю со злостью.

— Нет, мол, на колени не стану и молиться твоему богу не буду — не верю Стреляй.

Наклонился он с седла, под шапку мне смотрит — широкобородый, как кедр, и пьян (по духу чую), страшно:

— Ка-ак, ты б... экая, без бога смеешь жить?

И пошел у нас тут спор о вере — сторожил оказался киржак-расколь-ник. Веру я мужицкую знаю крепко. Наганы спрятал, говорит:

— Эвои, огонь видишь: неси туды моим приказаньем мешок муки и боченок масла.

— У меня нет.

— Казенный на складе имеется?

— За замком, ломать не могу, хоть бы имелось.

— А ты не ломай, ты пленный, законно не имеешь прав ломать, а я сломать могу! Покажи.

Три версты тащил ему из сломанного вагона куль крупчатки и впереди себя боченок масла. А в избе баба с широким, как телега, задом. По скамьям куски ситцев, на полатах барские сундуки, картина какая-то, проткнутая штыком, граммофон гудит. На столе в ведре сапога ковш. Пили мы всю ночь, ширококопая баба пекла блины, и спорили мы о боге и триперстном кресте.

— Приезжай, — говорил, обнимая меня Селезнев. — Приезжай ко мне на лето... Больно ты матеряться можешь и в бога не веруешь, весело: приезжай.

А на другой день увезли нас в Новониколаевск. В городе мороз и ветер. Трупы валялись у насыпей, и когда я шел к станции железной дороги, видел: собака тащилась человечесю ногу с выеденной до кости икрой. Из Чека меня направили еще куда-то. Там порылись в бумажках и перепросили:

— Ваша настоящая фамилия Иванов?

— Да, Всеволод Иванов, а по «очкам» — Евгений Тарасов.

Еще подумал некий во френче, написал записочку, в какое-то пере-движное Чека, потом порылись опять и сказали торопливо:

— Раз вы Всеволод Иванов, значит — вы арестованы.

Арестованных и колчаковских пленных тогда было тысяча десятя. По-ездами привозили с раз'ездов трупы замерзших — на кого мне теперь сер-диться? Оказывается, был еще у Колчака Всеволод Иванов, редактировал в Омске газетку и писал патриотические стихи. В камере помещалось нас семнадцать человек, на утро пришел солдат и сказал:

— Одевайтесь, на улку айда! Барахло можно не брать.

— Куда?

— На Колчаковскую ярманку!

Повели нас всех за город. В испуге я забыл надеть шапку, волосы у меня тогда были до плеч, — ветер на улице так и вздыбил. Конвойный обернулся:

¹ «Литературные Записки», № 3, 1922 г., стр. 26.

— Ты пошто без шапки?
Объясню. Без шапки, говорит, нельзя. Остановил отряд. Утро было уже большое. Служащие шли в учреждения. Взошел конвойный на тро-
туар и с какого-то буржуя сдернул хорошую меховую шапку:

— Ну, теперь пошли.

Тем временем столпились. Слышу — кричат:

— Товарищ Иванов!

Смотрю: наборщик Николаев, в семнадцатом году вместе на конферен-
ции печатников были. Рука на перевязи и на груди красноармейские значки.
Комиссар, видимо. Объясняет конвойному, почему меня нельзя расстрели-
вать, ибо я совсем большевик. Солдату, должно быть, надоело слушать, до-
курил папироску и сказал:

— Наше дело разве судить? А раз тебе его надо, бери.

Николаев вывел меня из толпы под руку, а остальных увел за город.

Через час мне дали временное удостоверение и пропуск из города.

Это, конечно, не все — так как идет с 1917 г. одна моя дорога —
смертная. И тому, что жив, — радуюсь.

Видел растянувшиеся на сотни сажень мерзлые поленицы трупов.
В снегах — разрушенные поезда, эшелоны с замерзшими ранеными. Видел,
как партизаны жгли трупы (закапывать не хватало сил), — один ряд трупов,
другой ряд бревен из изб и так на двухэтажную высоту. И от человеческого
дыма небо было словно копченое. Тупики, забитые поездами с тифозными,
и сам я в тифу, и меня хотят соседи выбросить из вагона (бояться заразиться),
а у меня под подушкой револьвер, и я никого не подпускаю к себе (выбро-
сят — замерзнешь, а наш вагон все же кто-то топил). И так, в бреду, семь
суток лежал я с револьвером и кричал:

— Не подходи, убью!

А по бокам дороги в крестьянских хлевах награбленные штуки мате-
рий. Ветер — словно камни, и простые, как огонь, смерти. И мохногоние
мушки, учившие меня — не знать страха.

— Коли ты в бога не веруешь, дави кулаком на сердце и, главное, дыши,
парень, поглубже, чтобы пропотеть. Раз испотеешь, все можно сделать.

В Татарском уезде, в тайге, был инструктором по внешкольному делу.
Там, за открытые школы и избы-читальни в поселке Брусничном подарил
мне сход два мамонтовых клыка, найденные в те дни в Урмани.

В Омске был на газете выпускающим и корректором, из Омска помо-
г мне выбраться Алексей Максимович¹ и Устинов — друг вечный. В Петер-
бург приехал в январе 1921 года, здесь и стал питаться близ Дома Ученых
и писать, что было давно надумано. В мае попал к «Серapiонам» — бра-
том Алеутам.

Пишу я с 1916 года, но мало печатал. Всю революцию не писал, разве
статьи (очень глупые). Напечатаны: книжка рассказов «Лога» и повести:
«Цветные ветра», «Партизаны», «Бронепоезд № 14,69». Печатается книга
рассказов «Сельмой берег», в «Красной Нови» — роман «Голубые пески»²
и кончается роман «Ситцевый зверь».

Приблизительно — все.

Всеволод Иванов.

¹ Алексей Максимович Пешков (Максим Горький). В. Л.-Р.

² Роман «Голубые пески» вышел книгой в 1923 г.

ДИТЕ

1

Монголия — зверь дикий и нерадостный. Камень — зверь, вода —
зверь и даже бабочка и та норвит укусыть. А у человека монгольского
сердце неизвестно какое: ходит он, говорят, в шкурах, похож на китайца и
от русских далеко через пустыню Нор-Кой стал жить. И, говорит еще, уйдет
он за Китай и Индию в синие непознаваемые страны.

Прибывали тут около русских прииртышские, те самые киргизы, что
от русской войны в Монголию перекочевали. У них сердце известно — сло-
дяное, никудашное, всего насквозь видно. Шли они сюда, не торопились —
и скот, и ребятнишек, и даже больных своих привезли.

Русских же сюда гнали немилосердно — были они мужики крепкие и
здоровые.

На камнях-горах оставили лишнюю слабость — кто повымер, кто по-
выбит. Семьи, и лопотина, и скотина белым остались; злобны, как волки
весной были мужики, в логах, в палатках лежали и думали про степи и про
Иртыш.

Было их с полсотни, председательствовал Сергей Селиванов, а отряд
так звался — партизанский отряд красной гвардии товарища Селиванова.

Скучали.

Пока гнали их белые через горы — от камня огромного и темного
страшило на сердце, а пришли в степь — скушно.

Похожа степь на степь прииртышскую: песок, жесткие травы, крепко
кованное небо. Все чужое, не свое, беспашенное, дикое. И еще тяжело
без баб.

О бабах по ночам рассказывали матерные солдатские побаски, а когда
становилось непереносно, сдлали лошадей, ловили в степи киргизок.

И киргизки, завидев русских, покорно ложились на спину.

Было нехорошо, противно их брать — неподвижных, с плотно закры-
тыми глазами, словно грешили со скотом...

Киргизы же боялись мужиков, кочевали далеко в степи.

Увидев русского — грозилась винтовками, луками, пиками, но не стре-
ляла. Может быть, не умели.

2

Казначей отряда Афанасий Петрович Трубачев — слезлив, как ребе-
нок, и лицо у него, как у ребенка: маленькое, беззубое, румяное. Только ноги
были длинные, крепкие, как у верблюда.

А когда садился на лошадь — строжал. Далеко пряталось лицо и си-
дел: седой, сердитый и страшный.

На Троицу отрядили троих: Селиванова, казначея Афанасия Петровича
и Древискина в степь искать хороших покосов.

Дремались под солнцем пески.

Сверху, с неба, шел ветер, с земли на трепещущее небо тоже теплынь;
и тела у людей и животных были жесткие, как камни.

И Селиванов сказал хрипло:

— Каки там покосы-то!.. Все знали, — говорит он про Иртыш.

Молчали редкоробордые лица: точно солнцем выжгло волос, как травы и степи, и алены узкие, как рана от рыболовного крючка, глаза. Один Афанасий Петрович отозвался жалобно:

— Неужто и там засуха...

Поплакивался голосок, но лицо не плакало, и только у лошади под ним, усталой и запахающей, ныли слезами большие и сухие глаза.

Так один за другим по пробитым дикими козами тропам уходили партизаны в степь...

Тлеи пески тоскливо, жадно лип на плечи, на голову, душный, пахнувший песками ветер. Горел в теле пот, но не мог пробиться через сухую кожу наружу...

К вечеру, уже выезжая из лощины, Селиванов сказал, указывая на запад: — Едут.

Верно: на самой овиди, колыхали пески розовую пыль.

— Должно — киргизы.

Заспорили: Дресвинин говорил, что киргизы далеко водятся и к Селивановским логам не подходят, а Афанасий Петрович: — Непременно киргизы, пыль киргизская, густая... А когда подкатили пески, пыль, решили все — незнаемые люди.

По голосам хозяев учуяли лошади — несется по ветру чужое. Запрыли ушами, пали на землю до приказа.

В логу серые и желтые лошадиные туши; были они беспомощны и смешны с тонкими, как жерди, ногами. От стыда, што ли, закрыли большие испуганные глаза и дышали порывисто.

Лежали Селиванов и казначей Афанасий Петрович на краю лога. Плакал, пошвыркивая носом, казначей. Чтобы не было страшно, клал его всегда рядом Селиванов. Почти от детского плача веселилось и озорничало тяжелое мужицкое сердце.

Развертывала тропа пыль. Перебойно стучали колеса, и, как пыль, клубились в хомутах длинные черные гривы.

Уверенно сказал Селиванов: — Русски...

И позвал из лога Дресвинина.

Сидят в плетеной новой тележке двое в фуражках с красными околышами. За пылью незаметно лиц, будто в желтом клубу плавают краснооколышные, ружье — дуло торчит, и когда рука с кнутом, ныряет из пыли Удмал Дресвинин и сказал:

— Офицера... по делам должно. Икспитияция.

Озорной подмигнул глазом и ртом: — Мы им пропишем...

Несет тележка людей, твердо несет, лошадей подталкивает и позади, как лиса хвостом, замечает след пылью.

Протянул плаксиво Афанасий Петрович:

— Ни надо, ребя... У плен бы лучча...

— Галовы своей не жалко...

Озлился Селиванов и затвор бесшумно, как пуговицу отстегивает, отбросил:

— Тут плакать не приходится...

Больше всего злило их — появились офицера в степь, одни без конвоя, будто была их тул сила несметная — мужикам смерть.

Вставал в рост офицер, степь оглядывал, но плохо — пыль, ветер вечерний красный на сожженных травах, на духах камнях у лога, похожих на лошадиные туши.

В красной пыли тележка, колеса, люди и мысли их...

Выстрелили...

Разом, задев одна другую, упали фуражки в кузовок.

Ослабли, точно допнули возжи...

Рванули лошади... понесли-было... Но вдруг холки их молочные опенились... дрожа крепкими кусками мускулов, они понурили головы, стали.

Сказал Афанасий Петрович:

— Померли...

Подожли мужики, посмотрели.

Померли краснооколышные. Сидят плечо в плечо, а головы назад, как башлыки откиннуты, и один из умерших — женщина. Волосы распались, в пыли наполовину — желтые и черные, а гимнастерка солдатская приподнята высоко женскою грудью.

— Чудно, — сказал Дресвинин, — сама виновата — не надевай фуражку. Кому бабу убивать охота... бабы нужны.

Плонул Афанасий Петрович.

— Изверг ты и буржуй... ничего в тебе нету...

— Обожди, — прервал их Селиванов, — мы не грабители. Надо имущество народное переписать, давай бумагу.

Под передком, среди прочего «народного имущества», в плетеной китайской корзинке белоглазенький и белоголовенький ребенок, и в рученке у него угол коричневого одеяльца зажат. Грудной, маленький, пищит слегка. Умленно сказал Афанасий Петрович:

— То же ведь, поди, так по-своему говорит, что...

Еще раз пожалели женщину и не стали одежду с нее снимать, а мужчину закопали голого в песок.

3

Обратно в тележке ехал Афанасий Петрович, держа в руках ребенка и покачивая, напевал тихонько:

«Соловей, соловей — пташечка...

Кан-речка...

Жалобно поет...

Вспоминал он поселок Лебяжий — родину, пригоны со скотом, семью, ребятишек и тонкоголового плакал.

Ребенок тоже плакал.

Бежали и тонкоголового плакали жидкие сыпучие и спаленные пески. Бежали на низеньких, крепкомысых монгольских лошадях партизаны, были они спаленнолицые и спаленнодушие.

У троп придушенная солнцем стлалась полынь, похожая на песок, мелкая и не уловимая глазом. А пески — полынь мелкая и горькая.

Тропы вы, тропы козы. Пески вы, пески горькие. Монголия-зверь, дикий и нерадостный...

Разглядели имущество офицерское. Книги, чемодан с табаком, блестящие стальные инструменты. Один из них, на трех длинных ножках — четырехугольный медный ящичек с делениями.

Подожли партизаны: осматривают, щупают, на руку привешивают.

Пахнут от них бараньим жиром — от скуки ели много и одежда высалилась.

Скуластые, с мягкими тонкими губами — донских станиц. С длинным черным волосом, темнотищье — известковых рудников. И у всех кри-
вые, как дуги, ноги и гортанные степные голоса.
Поднял Афанасий Петрович треножник медноголового, сказал:
— Тилископ.

И глаза зажмурил.

— Хороший тилископ, не один миллион стоит. На нем луну рассмо-
трели и нашли на ней, парни, золотые россыпи... Промывать не надо, как
мука — чистехонькое золото. Сыпь в мешок...

Один молодой из городских захохотал.

— И то брешет, раз'язви его...

Рассердился Афанасий Петрович.

— Это я-то брешу, стерва ты кукурузная. Погоди.

Табак поделили, а инструмент передали Афанасию Петровичу: как
казначей, может при случае обменять на что-нибудь у киргиз.
Сложил он инструменты перед ребенком.

— Забавляйся...

Не видит тот, пищит. И так и эдак пробовал, в пот даже ударило —
пищит дите. Принесли кашевары обед. Густо запахло маслом, кашей, щами.
Вытащили из-за голенищ широкие семипалатинские ложки. Вытоптана ста-
ном трава. Лог глубокий, тенистый, а сверху часовой на лошади кричит:
— Мне скоро-а... Жрать хочу... Смену...

Побеждали и вспомнили — надо ребенка накормить. Пищит непре-
станно дите.

Нажевал Афанасий Петрович хлеба, мокрую жамку сунул в мокрый
растопыренный ротишко, а сам губами пошелпал.

— Ппы-пы... баско... лопай, лешаненок...

Но закрыл тот ротишко и голову отворотил. Не принимает. Плачет
носом.

Подошли мужики, обступили. Через головы заглядывают на дитя.
Молчат.

Жарко. Лоснятся от баранины скулы и губы. Рубахи расстегнуты, ноги
босые, желтые, как земля монгольская.

Один предложил: — штей бы ему.

Остудили шей. Афанасий Петрович обмакнул палец в щи и в рот ре-
бенку. Текут по губешкам сальные хорошие щи на рубашонку розовую,
на байковое одеяло.

Не принимает.

— Щенок умней — с пальца жрет...

— То тебе собака, то человек...

— Удумал...

Молока коровьего в отряде нет. Думали кобыльим напоить, кобылицы
водились. Нельзя — опьяняет, кумыс. Захворать можно.

Разошлись среди телег, по кучкам переговариваются, обеспокоены.
А среди телег Афанасий Петрович мечется, на плечах бешметиком рваный,
глаза маленькие, тоже рваные. Голосок тоненький, беспокойный, ребяче-
ский, будто само дитя бежит, жалуется.

— Как же выходит? Не ест, ведь, мужики. Надо, ведь, а...

Стояли широкие, могучетелые, с беспомощным взглядом.

— Дело бабье...

— Канешна...

— От бабы он, может, и барана с'ел бы...

— Вот, ведь, оно...

Собрал Селиванов сход и объявил:

— Нельзя християнскому пареньку, как животине пропадать. Отец-то,
скажем, — буржуй, а дитя-то как же?

Согласились мужики.

— Дитя не при чем.

Захотел Дровесинин:

— Раста, ребя! Он вырастет у нас, на луну полетит... На россыпи...

Не рассмеялись мужики. Афанасий Петрович кулак поднял и крикнул:

— А и сука же ты беспросветная!

Потоптался он, руками помотал и вдруг закричал пронзительно:

— Корову надо, корову ему...

В один голос отозвались:

— Без коровы смерть...

— Обязательно корову...

— Без коровы сгорит...

Решительно сказал Афанасий Петрович:

— Пойду я, парни, за коровами.

Озорной Дровесинин перебил:

— На Иртыш, в Лебяжий...

— На Иртыш мне, чинчибуха прописная, ехать незачем. Поеду
я к киргизам.

— На тилископ менять...

Метнулся к нему Афанасий Петрович, озлобленно вопил:

— Стерва ты и правокатор рода человеческого, сволочь! Хошь по
харе получить?

А так как начали они материться не по порядку, прервал председатель
собрания Селиванов:

— Будя!

И проголосовали так: Дровесинину, Афанасию Петровичу и еще трем
ехать к аулам киргизским, в степь, и пригнать корову. Если удастся — две
или пять — мясо у кашеваров истощалось.

Подвесили к седлам винтовки, надели киргизские лисы малахаи, чтобы
издали на киргиз походили.

— С богом!

Ребенка в одеяльце завернули и в затылок под телегу положили. Сидел
подле него молодой паренек и для своего и ребячьего развлечения в пусты-
нный куст из нагана постреливал.

Эх, пески вы монгольские, нерадостные! Эх, камень - горюн синий,
руки глубоководные, злые!

Едут русские песками. Ночь. Пахнут пески жаром, полночью.

Лают в ауле собаки на волка, на тьму.

Волки воют во тьме на город, на смерть.

От смерти бежали киргизы.

— От смерти угоним ли гурты?

Зеленая душная тьма дрожит над песками, еле удерживают ее пески:
вот сорвется и порхнет на запад.

Пахнут от аула кизяком, айраном-молоком кислым. Сидят у желтых
костров худые и голодные киргизские ребяташи. Возле ребятшек голороб-

рые, остромордые собаки. Юрты, как стога сена. За юртами озеро, камыши. Из камышей выстрелили в желтые костры.

— О-о-а-ат...

Сразу выскочили из окшешных юрт киргизы.

Закричали напуганно, сначала один, потом разом:

Уй-бой, уй-бой, ак-кызыл урус... Уй-бой...

Пали на лошадей, и лошади точно день и ночь заузаны. Затопали юрты, затопала степь. Камыши закричали дикой уткой.

— Ак... Ак...

Один только седобородый свалился с лошади головой в казан-котел, опрокинул котел и, ошпаренный, завопил густым голосом. А подле стояла, поджав хвост, лохматая собака и боязливо тыкала голодную морду в горячее молоко.

Тонко ржали кобылицы. Испуганно, как от волков, бились в загоне овцы. Тяжело, точно запыхавшись, дышали коровы.

Покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы.

Хохотал беспутно Древесинин:

— Да мы жеребцы, что ли... Не вечно мы их...

Торопливо наделил он в плоскую австрийскую фляжку молоко и, хлопая нагайкой, подогнал к юрте коров с телятами. Освобожденные с привязи телята, быстро толкая головой мягкое вымя, радостно хватили большими мягкими губами сосцы.

— Ишь, голодные, бичера...

И Древесинин погнал коров.

Афанасий Петрович еще бежал аул и хотел было поехать, но вдруг вспомнил.

— Соску надо. Соску, черти, забыли...

Кинулся по юртам искать соску. Огни в юртах были потушены. Афанасий Петрович схватил головню и брызгая искрами, кашляя от дыма, искал соску. В одной руке у него трещала головня, в другой был револьвер.

Сосок не находилось. Лежали на кошмах, распластавшись и закрывшись чулками, покорные киргизки. Ревели ребятишки.

Рассердился Афанасий Петрович и в одной юрте закричал молодой киргизке.

— Соску, сволочь, немакана, давай соску.

Заплакала киргизка и начала поспешно расстегивать фаевый кафтан, а потом рубаху.

— Ни кирек... Ал... Ал...

А рядом на кошке плакал завернутый в тряпки ребенок. Киргизка подгибала ноги.

— Ал... Ал...

Но тут схватился за грудь ее Афанасий Петрович, потискал и свистнул обрадованно:

— Во-о... Соска-то... А!

— Ни кирек... Ни...

— Ладно, не кричай. Ай-да!

И за руку потащил ее с собой. Головня упала. В юрте потемнело.

В темноте посадил киргизку на седло и, время от времени пощупывая у ней на груди, понесся в Селивановские лога.

— Нашел, паре, а? — обрадованно говорил он, и на глазах у него были слезы.

— Я, брат, найду!

А в стане оказалось — не заметил в темноте Афанасий Петрович — захватил с собой киргизка ребеночка.

— Пушай — сказали мужики — молока и на обоих хватит. Коровы есть, а она баба здоровая.

Была молчалива киргизка и строга и ребят всем невидимо кормила. Лежали они у ней на кошке в палатке — один беленький, другой желтенький и пищали в голос.

Только через неделю на общем собрании Афанасий Петрович сказал:

— Так что утайка, товарищи: киргизка-то паскуда, кормит обманом — своему-то всю грудь скармливает, а нашему — что ни на доньшке. Я, брат, подсмотрел.

Пошли мужики, смотрят: ребята, как и все ребята. Один беленький, другой желтенький, как спелая дыня. Но только похоже, что русский потоньше киргизского.

Развел руками Афанасий Петрович:

— Я ему имя дал: Васька... а тут поди ты... оказия...

Сказал Древесинин:

— А ты, Васька, хилай.

Нашли палку, измерили ее на оглобле, чтоб одна другую сторону не перетягивала.

Подвесили с концов ребятишек — который перевесит.

Пищали в тряпочках подвешенные на волосных арканах ребятишки.

Пахло от них тонким ребячьим духом. Стояла у телеги киргизка, и, не понимая ничего, плакала.

Молчат мужики, смотрят.

— Пушай — сказал Селиванов.

Опустил руки от палки Афанасий Петрович и сразу русский мальченка — вверх.

— Ишь, сволочь желторотая, — сказал Афанасий Петрович разозленно.

Поднял валявшийся сухой бараний череп и положил на русского Уравнял их ребята.

Зашумели мужики, закричали.

— На целу голову, паре, перекормила, а?...

— Не уследишь...

— Вот, зверь...

— Не только работы, что за ребятами смотреть.

Подтвердили мужики:

— Где уследишь!

— Опять же родительница.

Затопал, завизжал Афанасий Петрович.

— По-твоему, русскому человеку пропадать из-за твоего намаканова... пропадать, Ваське-то...

Посмотрели на Ваську — лежит белый, худенький...

Муторно стало мужикам.

Сказал Селиванов Афанасию Петровичу:

— А ты его... тово... пушай, бог с ним, умрет... киргизенка-то. Мало их перебили? к одному!

Поглядели мужики на Ваську и разошлись молча.

Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рванный мешок.

Завила мать. Ударил ее слегка в зубы Афанасий Петрович и пошел из лога в степь.

Дня через два стояли мужики у входа в палатку на цыпочках и через плечи заглядывали во внутрь, где на кошке киргизка кормила белое дитё. Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами, фаевый фиолетовый кафтан и сафьяновые ичти.

Было дитё личиком в грудь, сучило рученками по кафтану, а ноги бились смешно и неуклюже, точно он прыгал.

Могуче хохоча, глядели мужики.

Нежно глядел Афанасий Петрович и, швыряя носом, плаксиво говорил:

— Ишь, кроет...

А за холщевой палаткой бежали неизвестно куда лога, степь, чужая Монголия.

Незнамо куда бежала Монголия — зверь дикий и нерадостный.

Петербург, 1921 г.

(«Седьмой берег», стр. 209).

АЛТАЙСКИЕ СКАЗКИ¹

1

Кургамыш — зеленый бог.

Туянчи-Осень траву посла, листья дерев жует.

Старая, злая; нос — чисто гнилой сучок, лицо — прошлогодняя саранча. Кляки скалит.

— Все пожру!

Дрожат листья, жмутся — умирать никому не хочется.

Ладно.

По желтому озеру на бревне плывет Кургамыш — зеленый бог. Лицо — широкое, ласковое лицо, а глаза, как у лошади — большие. Хочет:

— Гу-у... Я плыву... Гу-у...

Это кувыркается со скалы на скалу, с горы на гору. Ручьи бьют каплями серебряными о камни:

— Ти... Ти... Ти...

Здравствуют с зеленым богом.

Туянчи увидела его. Озлилась еще сильнее

На кедр вскочила. Шипит:

— И тебя слопаю!

И Кургамыш ее увидал.

Как вскрикнет:

— Зачем лес портишь, кикимора?

А та как плюнет. Слюна в озеро пала, льдинками поплыла. Холодом пахнуло.

Кургамыш тоже рассердился.

— Я тебя! — кричит.

Выскочил на берег, к Туянчи бросился.

Схватились они биться.

¹ Из «Красной Новия», за август 1921 г., № 2. Всенюад Иванов.

Черным клубом паль идет, вода кипит, горы стонут. Тайга колеблется, как платье от ветра.

— Убью! — рычит Кургамыш.

— С'ем! — шипит Туянчи.

Ладно.

И день. И два. И три. Конца битве не видать...

Только листья качаются, жмутся, молятся:

— Хорошо бы Кургамыш победил! Ах, хорошо!

Узнал старый бог — Кутай, всем богам бог, у которого трон из чистого золота в тени березы с алмазными листьями, а подножье — облака, а конь — синегриный, а чамбурь из красного гаруса. Сказал:

— Нельзя богам сердиться, наконец. Бросьте.

А те не бросают. Кургамыш отогнул лицо от урни, крикнул:

— Вот убью и брошу.

И опять за лицо Туянчи схватил.

И махнул рукой старый бог — Кутай. — Рассердился.

В невидимом вихре понеслись Туянчи и Кургамыш. Крутятся, вертятся.

Бегут. Стужа.

РАССКАЗ О СЕБЕ

I

Нет горя большего, как говорить о себе.

Нет радости большей, как любить.

Над Каракорумскими камнями (была некогда там ставка Батыева и Чингиз-хана) ныне песок да ветер. Шел туда с ветром и я. Прошел мимо.

— Все пройдет мимо, но цветом неохватным расцветает за горем радость. Каждую весну — трава, каждую осень журавли летят в Египет.

II

Семь лет не видал я отца и летом 1918 года — увидал. Вышел он за школьную ограду встретить меня: зарослые губы улыбнулись над худым костлявым телом. Жалобно потрогал штаны из мешка и заплакал. Было у него такое лицо, словно сотни лет плакал.

А у меня в мозгу не он, и нет радости. Помню последний день перед бегством из Омска: шли подводы по пыльным душным улицам, я насчитал их семьдесят и ушел. Антон Сорокин говорил:

— Расстреляли чехи...

Может быть, расстреляли, не то убиты в боях под Куломзинным (теперь мы узнали, Антон Семенович).

Везли рано утром, торопливо, и на трупах оседала и сходила розоватая айртиская пыль и такая же пыль была на мне. Я тоже труп, но бежавший.

У матери туго перетянутый, выпирающий сверху живот, и лицо у ней выцветшее, как осенняя трава. Она тихо глядит на меня и спрашивает:

— Тебя как зовут-то теперь?

— Василий, — отвечаю я.

Она напуганно молчит: у меня чужое имя и чужая фамилия. А позади ее смеется невзрачным идиотским смешком брат мой, Палладий: тонкорукый и тонконогий с огромным вздувшимся животом (у него расширение селе-

Х А Д Ж И

Очерк М. Шкапской

Хаджи завладел нами на Ригистане. Подошел, делозито предложил:

— Давай — шагай!

И несколько часов по ряд водил нас по Самарканду, этому среднеазиатскому Риму, своей неторопливой походкой, которая однако вынуждала нас почти бежать за ним.

А между тем ему далеко за 60. — Верещагин писал его у дверей мечети уже стариком. — Но он худ и строен как юноша. В талии перетянут пестрым платком, в котором хранится его дневная выручка, на голове трехметровая чалма «наматывай и думай о смерти».

Старик словоохотлив, любит и смакует свою старину, но не лишен юмора — профессиональный гил. Правда, его старина очень своеобразна: с данными историческими и археологическими не совпадает ни одна дата и ни один факт. Но так ли нужна художнику правда? И не любопытнее ли слушать, как дышит через живого старика прошлое его страны, чем точно и сухо знать его прошлое?

Он водил нас сперва по Ригистану, по трем его мечетям — Шир-дор, Тилля Кари и Улуг-бека. Подчеркивая бледную бирюзу и острое золото каменных витражей, плакался над запустением медресе и покачившимся минаретом, который с трудом удерживают стальные тросы, рассказывал об утраченных секретах выделки изразцов.

Возле Биби-ханум показал каменный пюпитр, вокруг которого для исцеления водят больных лошадей и бесплодных женщин.

В Гур-эмире нефритовой логикой тамерлановой могилы убеждал нас в непорочном зачатии хромого вождя от солнечного луча, а не убедив — склонил к покупке старинных шахмат из слоновой кости, на том основании, что «Тимур был большая шахматист». В Шах-зинда, где пятнадцать куполов высятся над пятнадцатью хозяевами, — отреккомендовал почтенных покойников, как

«Папашка — мамашка Тимур»,

что должно было означать тамерлановых родственников.

В молчаливом золотом коридоре Шах-зинда, на напоенных солнцем камнях — учтиво знакомил нас с последними дервишами — сухими и оголодавшими, вышедшими из моды. И жаловался, что вот их оставили

«чисто — пусто без мебели».

К развалинам знаменитой обсерватории Улуг-бека вести отказался за поздним временем, и миновав шумный арабский квартал и тихое еврейское кладбище, присел на десять минут на пыльный ковер чайханы для того, чтобы прихлебывая бледный чай — показать на распростершийся я напротив Самарканда древний город Афросиаб (?)

С первого взгляда видишь только холмы. А взглядишься — очертания зданий и укреплений, только как будто прикрытые легкой глиняной фатой.

Говорят, делали раскопки, отрыли какие-то странные колонны. Долго ломали над ними головы, пока не догадались, что это люфт-клеты, потопившие наследственные клозеты, для которых и сейчас в Самарканде роют глубокие ямы, засыпаемые землей по наполнению. Люди умирали, поколения сменяли друг друга, а клозеты оставались, переходя из рода

в род. А потом окаменели и в каменных недрах своих донесли до наших дней черепки выброшенной год за годом посуды. По этим черепкам определяют ныне ученые эпохи саманидов и сасанидов.

Но Хаджи этот научный метод не одобряет, отозвавшись о нем с пренебрежением —

«Дурак — валяй», ведет он нас по глиняным улочкам к себе домой.

Четыре стены и гильный ковер на полу — это гажно называется гостиной. На ковре целый потоп бумажек и визитных карточек. Это Хаджи вытряхнул из своей заповедной шкатулки все восемь тысяч адресов и фамилий, которые ему

оставили проезжие туристы — своеобразное доказательство его трудового стажа. Кого только здесь нет — профессор Висконсинского университета, шведский врач, студент из Москвы, датский коммерсант... Восемь тысяч человек — целая армия. Всех он водил по городу и рассказывал о «папашке — мамашке Тимур», о люфт-клетках, о Биби-ханум...

Но впрочем, о Биби-ханум речь впереди. Это его коронный номер. Для того чтобы рассказать о ней на свободе, не торопясь, и привел он нас к себе.

Мечеть Биби-ханум — самое красивое, что есть в Самарканде, с куполом, синим как синька, с тонким золотым фонтаном росписей по порталу. Как синий сног огня вырывается она из серой глины города, среди схематических домиков, похожих на спичечные коробки, гордо поднимая над ними свою полнокровную голову.

«Биби-ханум — была любимая жена Тимур», торжественно начинает Хаджи.

И хотя мы знаем, что никакой Биби-ханум не было, но разве трудно представить себе, что она могла быть?

И шаг за шагом развртывается ее история.

Пока Тимур воевал в Индии — Биби-ханум решила приготовить ему подарок. В виду того, что Тимур сократил штаты — увел на войну всех своих мастеров — ей пришлось пригласить иностранца. По словам очевидцев он чрезвычайно критически отнесся к ее кредитоспособности. Тогда Биби-ханум велела внести два сундука с мужниными подарками. Он вынул 2-3 горсти и бросил на землю, — она ноль внимания. — В то время видимо это был естественный способ зарекомендовать себя хорошим строителем.

Парню это понравилось, он решил, что с такой женщиной будет толк, и начал строить, не прибегая к санкциям никаких госпланов и научно-технических комитетов. Но тем не менее и без их помощи он также не выстроил мечети к сроку.

Тимур вот-вот вернется, а порталная арка все еще не выведена. Взмолвавшая дарида полезла по лесам к зодчему умолять его поторопиться. Получилось еще хуже: услышав ее голос, строитель немедленно в нее влюбился и потребовал поцелуя — вид мол распространенный в то время вид взятки.

Долго хитрила и уваливала Биби-ханум. Любую служанку предлагала ему вместо себя. Возвысилась даже до философского рассуждения, что все женщины равны, подобно вареным айдам, выкрашенным в разные цвета. Различен только цвет, а сущность одна и та же.



„В окрестностях Самарканда“

Рис. В. Усто-Мумина

